

## Глава 6. «Новые люди» и старые нравы в творчестве Г.И. Успенского и С. Каронина<sup>1</sup>.

В 1860-е годы в России активизируется народническое движение, а вместе с ним получает развитие и народническая литература, первыми среди представителей которой следует назвать Г. Успенского, С. Каронина, А. Энгельгардта<sup>2</sup>.

С именем **Глеба Ивановича Успенского (1843 – 1902)** в отечественной литературе связана серьезная попытка исследовать влияние капитализма на судьбы русского крестьянства. В своих очерках - «Из деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд» и «Власть земли» - Г. Успенский утверждает обусловленность нормальной и, пожалуй, счастливой жизни крестьянина его связью с землей, которую нарушают формирующиеся капиталистические отношения и цивилизация, приходящая вместе с ними. «...Для сохранения русского земледельческого типа, - пишет он, - русских земледельческих порядков и стройности, основанной на условиях земледельческого труда, всех народных частных и общественных отношений, необходимо всячески противодействовать разрушающим эту стройность влияниям; для этого необходимо уничтожить все, что мало-мальски носит чуждый земледельческому порядку признак: керосиновые лампы, фабрики, выделывающие ситец, железные дороги, телеграфы, кабаки, извозчиков и кабатчиков, даже книги, табак, сигары, папиросы, пиджаки и т.д. и т.д. Все это необходимо смести с лица земли для того, чтобы Иван Ермолаевич (персонаж очерков Успенского, крестьянин-середняк. – С.Н., В.Ф.), воспитывавшийся в условиях земледельческого труда, на них построивший все свои взгляды, все отношения, на них основавший целый, особый от всякой

---

<sup>1</sup> Глава написана совместно С.А. Никольским и В.П. Филимоновым.

<sup>2</sup> Хотя многие произведения авторов, чье творчество исследуется в настоящей главе, относятся не только к периоду 60-х годов, но и к более позднему времени – 70-м и даже 80-м годам XIX столетия, тем не менее, содержательно их «присутствие» более «к месту» в данном томе, посвященном проблематике «нового человека».

цивилизации, своеобразный «крестьянский» мир, мог свободно и беспрепятственно развивать эти своеобразные начала...

Но если бы такое требование было, в самом деле, предъявлено, то едва ли бы нашелся в настоящее время хотя один человек, который бы определил его иначе, как крайним легкомыслием. Да и сам Иван Ермолаевич... не променяет керосиновой лампы на лучину и не посадит свою жену за «прясло», когда есть деньги, чтобы купить ситчику. И выходит поэтому для всякого что-нибудь думающего о народе человека задача, поистине неразрешимая: цивилизация идет, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того, что не можешь остановить этого шествия, но еще, как уверяют тебя и как доказывает сам Иван Ермолаевич, не должен, не имеешь ни права, ни резона соваться, ввиду того, что идеалы земледельческие прекрасны и совершенны. Итак – остановить шествие *не можешь*, а соваться *не должен!* Между тем сам Иван Ермолаевич... чувствует себя весьма нехорошо и вырабатывает... взгляды на окружающее вполне непривлекательные...»<sup>3</sup> В результате прихода в деревню «нового быта» и его причины - капиталистических отношений, в традиционном для России земледельческом слое, наряду с прочими последствиями, появляются и новые социальные слои деревенских «новых людей».

Упираясь в неразрешимость задачи сохранения и развития «русского земледельческого типа» в условиях капитализации страны, Г. Успенский по логике своих размышлений должен признать, как ни катастрофично это звучит, конец эпохи традиционного полутоварного - полунатурального, но в обоих случаях кустарного земледелия, конец эпохи крестьянства в России и общины как основной формы его бытия. Наблюдая пореформенные изменения в деревне в цикле «Новые времена, новые заботы» (1873), Успенский регистрирует исторический момент перемен в отношениях к собственности. Не только у помещика, но и у крестьянина появляются новые мысли и чувства, доселе неведомые ни тому, ни другому. Как только какой-то

---

<sup>3</sup> Успенский Г. Избранные произведения. М., «Московский рабочий», 1949, с. 386-387.

кусок леса или поля стал чужим, «барин сообразил, что все это – «мое», и как только увидел это же самое мужик, то и он тоже сообразил, что ведь это – «наше»»<sup>4</sup>. Эти переживания были до того новыми, что аппетит к «моему» и «нашему» стал возрастать не по дням, а по часам.

В практике крестьянской жизни это новое восприятие и ощущение собственности не получило, по описанию Г. Успенского, естественного, органического развития. Так, крестьяне деревни Распясово, которая у писателя выступает примером восприятия русским мужиком пореформенных хозяйственных преобразований, возбуждались неопределенными мечтаниями от рассказов солдат и богомольцев, приносивших сведения из «большого мира». Они уносились мыслями в утопические дали, что так свойственно русскому мужику, в то время как их взаимоотношения с господами все больше запутывались в бюрократических лабиринтах. Они «возлагали надежды на бога, а убеждение в правоте своего дела основывалось у них исключительно на мечтаниях в темные осенние и зимние вечера и ночи...

...Не понимая путем того, что читал приехавший чиновник, они догадывались, однако, что в бумаге нет ничего насчет того, чтобы все «повернуть к ним», как обещано, и потому говорили, что эта бумага «не та», что подписывать ее не будут...»<sup>5</sup>.

В конце концов, все мечты и надежды распясовцев были разрушены, «они ничего не могли сообразить в виду очевидности их неудачи, и, вместо того, чтобы негодовать, шуметь и буйствовать..., они совершенно ослабли духом, отчаялись, пали в глубоко-упорную апатию. «Помереть!» – было единственным желанием почти всех распясовцев...»<sup>6</sup> Мироощущение столкнувшихся с капиталистическими отношениями распясовцев рифмуется с вахлячиной Н.А. Некрасова и щедринскими глуповцами, с их необыкновенной способностью во всякую минуту необходимости принятия

---

<sup>4</sup> Успенский Г. И. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1990, с. 195.

<sup>5</sup> Там же, с. 196.

<sup>6</sup> Там же, с. 201.

серьезного самостоятельного решения погружаться в стагнацию. И распясовцы, действительно, стали помирать, пока всех их не отдали под суд.

Само то, что Глеб Успенский, создавая образ деревни Распясово, осуществляет это в жанровых рамках притчевых обобщений, подчеркивает его стремление воспроизвести некую сущностную черту крестьянского мироощущения в России в целом. Его распясовец ослаб духом и потерял все. Сознание своей глупости «отозвалось в характере распясовцев полным презрением друг к другу. Они, как собаки, грызлись и вредили друг другу на новых местах; всякому было отвратительно видеть в другом набитого дурака, который, из-за своего невежества и дурости, разорился сам и других разорил... Закончив долголетнюю историю своего терпения и бедности сознанием своей глупости, ничтожества, такого ничтожества, которое может быть во всякое время выкинуто вон, как сор, распясовец чувствовал внутри себя полный разгром, разврат и стал пропивать все, что оставалось, стал воровать...»<sup>7</sup>

В этой ситуации полной растерянности, морального упадка и расслабления, в которые впадает русский мужик-«распясовец», только что вышедший из полусонного состояния «крепи» и не справившийся с накатившей на него капитализацией, в это время является как раз капиталистический «хищник» с его теорией «человек – полтина», которую он активно внедряет в распясовскую среду, чем окончательно оглушает крестьянина, лишает его прежней минимальной по нынешним меркам, но все же индивидуальной самостоятельности в организации хозяйственной жизни. Этот «хищник» - опять же «новый человек», купец новой формации, существенно отличающийся от купца «старомодного». Что же такое был этот прежний купец?

«Старомодный купец, как скажет всякий, кто имел с ним дело, жил обманом, богатство приходило к нему темными путями, и слова "темный богач" так же справедливы по отношению к старомодному купцу, как

---

<sup>7</sup> Там же, с. 202.

поговорка: "не обманешь - не продашь" - справедлива относительно его деятельности. В нем все было обман. Женился он обыкновенно не на женщине, а на сундуке, но притворялся, что он - семейный человек и живет в страхе божием, зная, что все в его семье точно так же притворяются и лгут, как и он сам. Обходительность и ловкость, которыми он щеголял перед покупателем, пришедшим к нему в лавку, были не более как средством "отвести" покупателю глаза, "заговорить зубы" и всучить тем временем гнилое, линючее или спустить против настоящей меры на вершок, а то и на целый аршин, если удастся... Так думали про старинного купца все, да так думал и он сам, потому что, хоть иной раз он и наживал большие капиталы, хоть иной раз и ловко удавалось ему "обойти" покупателя, -- в глубине души он чувствовал, что дело его "не чисто", что каждую минуту его могут уличить и поступить на законном основании, да и на том свете, пожалуй, будет не очень хорошо. Вот почему старомодный купец считал своею глубокою обязанностью радеть ко храму божию, заглушать голос совести стопудовым колоколом или пудовой свечкой местному образу, с которою он обыкновенно, пыхтя и обливаясь потом, пробирался посреди толпы, наполнявшей храм, толкая публику направо и налево. Жертвы храму божьему успокаивали его душу, сознававшую, что она не очень чиста, но едва ли они могли успокоить его насчет неумолимого закона, которому нельзя ставить никаких свечек, который не нуждается в колокольном звоне. И действительно, закон, начиная будочником и кончая губернатором, постоянно стоял над старомодным купцом в самом угрожающем виде. Купец был дойною коровою всех, кто представлял собою какую-нибудь власть. Он давал взятки, подносил хлеб-соль, жертвовал, подписывал на альбом видов, который общество задумало поднести значительному лицу, проезжавшему из столицы, делал иллюминации "в честь"... участвовал карманом в каком-то аллегри "в пользу" и т. д., не говоря о том, что пирог с приличной закуской - причем всегда должна быть отличнейшая икра и редкостнейшая рыба (две вещи, неразрывно связанные с словом "купец", как неразрывно связана с

этим же словом "лисья шуба" и возглас: "кипяточку!") - этот пирог не сходил у него со стола для званых и незваных. Квартальный, городничий, частный пристав, брандмейстер, судейский крючок, ходатай и т. д. -- все это шло к нему в дом, в лавку и брало деньги, ело икру, рыбу, пило водку, постоянно грозило и требовало благодарности за снисхождение. Старомодный купец всем платил, всех кормил, чувствуя себя виновным, и только миновав все эти препоны, то есть накормив, оделив всех, мог завтра опять "заговаривать зубы" и "отводить глаза". Недаром стародавний купец одевался в лисий мех: нечто лисье было во всей его деятельности, а травля, гораздо более оживленная и деятельная, чем бывает травля на настоящую лисицу, преследовала старомодного купца изо дня в день, из года в год. И вот, налгавшись вдоволь, напотевшись за чаем и из страха наказания за свои плутни, этот лиса-человек кончал тем, что под конец жизни прятал свои деньжонки, скопленные обманом и криводушием, в сундук и, чтобы спокойно дожить остаток дней, должен был притворяться нищим, уверять всех и каждого, что у него за душой нет копейки, а в доказательство справедливости этих слов - питался одной только редькой»<sup>8</sup>.

Однако постепенно капитализм утверждается не только в крупных городах, но и в провинциальном захолустье и вот уже на смену старомодному купцу приходит купец – предприниматель новой формации, работающий в изменившихся социально-экономических условиях. Посмотрим, что именно в этом «новом человеке», в этом «хищнике» видит Г. Успенский.

«Ничего общего с этого рода типом (купцом старомодным. – С.Н., В.Ф.) Иван Кузьмич Мясников не имеет; в физиономии его нет ни той слащавости, которая замечалась у прежнего купца в моменты спуска аршина на четверть против настоящей меры, ни страха, являвшегося при появлении квартального. Напротив, физиономия Ивана Кузьмича - физиономия смелая, уверенная, и эту открытую смелость Иван Кузьмич не прячет даже в бороду, потому что "по нонешнему времени" он эту бороду бреет. Такая существенная

---

<sup>8</sup> Там же, сс. 189 – 190.

разница между старым и новым представителем капитала объясняется тем, что старый тип считал свое дело в глубине души "не совсем чтобы по-божески", а новый, напротив, ничуть не сомневается в том, что его дело - настоящее и что отечество даже обязано ему благодарностью за то, что он жертвует своим капиталом на общую пользу, и хотя действует из личных выгод, но зато дает другим хлеб, оживляет "мертвые местности" и капиталы, как пишут в газетах (с которыми Иван Кузьмич частью знаком), капиталы, которые, по словам газет и по убеждению Ивана Кузьмича, бог знает сколько времени лежали бы без движения, если бы он, Мясников, не приложил к ним своих рук. В этом убеждении Ивана Кузьмича укрепляет общественное мнение, мнение печати и та действительная нищета, среди которой его капиталы, его хлеб - действительно благодеяние. Вот почему взгляд его прям и прост, вот почему ему нет надобности ни вилять, ни бояться: он действует на законном основании. И нет поэтому Ивану Кузьмичу никакой надобности тащить к местному образу пудовую золоченую свечку, чтобы тем успокоить свою совесть, - совесть эта покойна, потому что Иван Кузьмич "дает просто оборот своим капиталам", а это не запрещено, и в писании ничего грозного на этот счет не сказано. Вот почему и причт того прихода, к которому принадлежит Иван Кузьмич, уж и не ждет от него никакого финансового поощрения, раз навсегда решив, что тут много "не пообедаешь", "не разъешься". Действуя на законном основании, Иван Кузьмич совершенно покоен и с этой стороны, зная наверное, что его никто не посмеет тронуть: на все у него есть патенты; везде заплачено что следует; без заискивания, без страха, не с заднего крыльца, не тайком в темном углу сунуто, "дадено" в руку, а прямо "заплачено" "что вам следует", и благодаря этому начальство не только не может принять относительно его той угрожающей позы, в которой оно постоянно фигурировало пред купцом старого типа, но по примеру духовенства знает, что тут "больше не ухватишь", и держит себя в почтительном от Ивана Кузьмича отдалении. Словом, сознание, что капитал -- сила, что прятать его в сундук - глупость, что делать на этот капитал оборот, что покупать и

продавать можно решительно все, что продается и покупается, что получение барыша тоже вполне разрешено и допущено, - все это проводит резкую границу между старомодным купцом и купцом нового типа и делает последнего спокойным, уверенным и не боящимся ничего ни здесь, ни там.

И вот, вместо того чтобы по старому обычаю, отправляясь в дорогу по делам, отслужить с водосвятием напутственный молебен, как это делал прежний купец, когда ехал за гнилым товаром в Москву; вместо того чтобы дать окропить себе лицо и окропить внутренность кибитки и даже внутренность шапки ямщика, Иван Кузьмич, в качестве "нового типа", кладет в карман шестиствольный, заряженный шестью пулями револьвер и совершенно спокойно отправляется "оживлять" мертвые места и капиталы, отправляется в глубину русской глуши, где этих капиталов везде лежат непочатые углы, совершенно недоступные для купца старого закала.

И, словно сказочный богатырь, наделенный непомерною силою денег, Иван Кузьмич начинает буквально двигать горами. Прикоснется он с своими капиталами к дремучему темному бору, грозно шумевшему тучам и грозам: "вороти назад, держи около", и с материнской заботливостью дававшему приют тысячам зверей и птиц, и - глядишь, в две-три недели после появления в этом лесу Ивана Кузьмича - лес исчез, и уж больше нет этого дремучего богатыря! Разбежался зверь; с шумом, карканьем и плачем разлетелись птицы, и остались одни бревна, кое-где придавившие зайца, спасавшегося бегством, поленицы дров, брусья. А скоро и это исчезнет отсюда, и останется голое, изрытое место да деньги в кармане Ивана Кузьмича, какие-то разноцветные маленькие бумажки, которые тотчас вновь идут в дело, и - глядишь, где-нибудь в другом глухом уголке идет стон и рев, и рекою льется кровь быков, свиней и овец... Стадо превращается в мясо, в солонину, в сало, в шкуры, в пуды, в фунты - и все это скоро исчезает, уезжает на скрипучих возах, оставив после себя пустое пастбище да бумажки разноцветные в кармане Ивана Кузьмича, тотчас идущие на какое-нибудь новое дело... Но какого бы рода дело это ни было, всегда что-то очень похожее на опустошение, на исчезание,



на смерть чего-то, что было и чего не стало, остается по приведении этого дела к окончанию. Надо отдать справедливость твердости характера и нервов Ивана Кузьмича; он никогда почти не испытывал этого ощущения смерти - ни тогда, когда, треща и крича испуганными птицами и не хотевшими сдаваться топору стволами, падали тысячи деревьев, ни тогда, когда под ножом умирали тысячи быков, тысячи рыб, ни тогда, когда тысячи других тварей, оставленных живыми, с ревом, хрюканьем или беспомощным бляньем, битком набитые в вагоны, крепко-накрепко запертые, увозились на убой неведомо куда. Все это было для него: триста двадцать пять сажен дров, пятьсот пудов сала и столько-то голов скота. Покончив со всеми этими еще недавно живыми саженьями и пудами, он чувствовал только усталость, утомление и убеждался, что деньги достаются не даром, что труда он кладет в них много и что прозвища "благодетель", "кормилец", которые иной раз приходилось Ивану Кузьмичу слышать в оживляемых им глухих местах, "пожалуй что" и справедливые прозвища.

И в самом деле, как в сущности ни проста система оборотов капитала, которой придерживается Иван Кузьмич, как ни прост прием обогащения, основанный на том, чтобы в корень извести все, что произвели природа или чужие руки, как ни просто, проглотивши этот многолетний труд природы и человека, положить потом себе в карман чистые деньги, но условия жизни глухих мест бывают иной раз таковы, что и такая система действия, такая голая купля готового добра, такое бесследное уничтожение естественных и трудовых богатств могут, поистине, считаться благодеяниями, а Иван Кузьмич - действительным благодетелем...»<sup>9</sup>

Однако купец новой формации ничего бы не смог, если бы не было «распоясовцев». В каком же положении пребывают они? В массе своей крестьянин, как его видит Глеб Успенский, нищ и несчастен. И причины его обнищания в пореформенное время выглядят почти мистикой. В цикле очерков «Из деревенского дневника» повествователь беседует с крестьянином,

---

<sup>9</sup> Там же, сс. 190 – 192.

производящем впечатление нищего. В чем же причина? «Пищи нету», - отвечает несчастный. В то же время в деревне этого крестьянина идут большие постройки, и свободное время крестьян, то есть конец мая и июнь, может быть хорошо оплачено подневной работой. Но у собеседника повествователя нет ни лошади, ни жены, а зять – в солдатах и сам крестьянин «ослаб». «Случись неуправка, - говорит он, - никому, братец ты мой, отвечать за тебя неохота». При этом деревня, где живет горемыка, самая богатая. И весь край, Приволжье – степная Самарская губерния истинная «житница русской земли».

Повествователя тревожит трудно разрешимый в пореформенной России вопрос (вспомним Льва Толстого): «Что же еще нужно, чтобы человек здешний был в достатке?» Обедневшие крестьяне утверждают, что и на общину они рассчитывать не могут (например, на общинные леса, общинную кассу): «они» «нам» не дадут. Таким образом, делает довольно туманный вывод Глеб Успенский, в глубине деревенских порядков есть какие-то «несовершенства интеллектуальные», достойные того, чтобы обратить на них внимание.

Об этом же, но уже определенно в укор обществу в очерках «Крестьянин и крестьянский труд» Успенский заключает: «Не раз, глядя на эту почти добровольную отдачу себя на съедение всем, кто пожелает, всем, у кого загибаются лапы, я в глубоком унынии восклицал, конечно в мыслях моих: "Боже мой! какие же нужны еще казни египетские, чтобы сокрушить в Иване Ермолаевиче это непоколебимое невнимание к "собственной пользе"!" Ведь это невнимание делает то, что через десять лет (много-много) Ивану Ермолаевичу и ему подобным нельзя будет жить на свете: они воспроизведут к тому времени два новые сословия, которые будут теснить и напирать на "крестьянство" с двух сторон: сверху будет заседать представитель третьего сословия, а снизу тот же брат мужик, но уже представитель четвертого сословия, которое неминуемо должно быть, если будет третье. Этот представитель четвертого деревенского сословия непременно будет зол... и неумолим в мщении, а мстить он будет за то, что очутился в дураках, то есть

поймет наконец (и очень скоро), что он платится за свою дурость, что он был и есть дурак, дурак темный, отчего и разозлился *сам на себя*. И горько поплатятся за это все те, кто, по злumu, хитрому умыслу, по невниманию или равнодушию, поставили его в это "дурацкое" положение. Другим словом нельзя определить этого положения, ибо если в русской деревне завелся хронический нищий, то только существованием какого-то *неумного места* в организации общественной, ничем другим это явление объяснить нельзя. Все есть для того, чтобы такого явления не было, - а оно уже есть; никакими резонами, мало-мальски подходящими к тому, что определяется словами "необходимость", "неизбежность", нельзя этого явления объяснить. Представитель русского четвертого сословия есть продукт бессердечной общественной невнимательности - ничего более»<sup>10</sup>.

«Несовершенства интеллектуальные» касаются духовной жизни человека, но со стороны просто элементарного здравого смысла жизнь крестьянина, как ее описывает Успенский (как и вообще литераторы этого направления), кажется абсурдной, лишенной права и закона. Так, в очерках «Из деревенского дневника» писатель рассказывает, как крестьяне забили насмерть молодого конокрада. При виде мертвого на всех напал страх. «Никто не думал, что убьет до смерти, всякий бил *за себя*..., не считал, что и другие бьют. А как увидели два покойника – оторопь и обуяла всех... Все врассыпную. «Не я... не я... не я...» ... Суд был. И точно – ничего не было. Всех оправдали»<sup>11</sup>.

А причина всего этого животного безумия – в лошади. Она и есть «главное действующее лицо» всей истории, заглушающее совесть крестьян и оправдывающее, даже и с точки зрения повествователя, их действия. Что такое для крестьянина лошадь? Лошадь – скотина хозяйственная, украсть ее, значит разрушить или существенно ослабить платежную силу крестьянского двора. «Хозяйственный ореол лошади помрачал всякие соображения о страданиях человека... до того, что... оказывалось позволительным ухлопать человека,

---

<sup>10</sup> Успенский Г. Избранные произведения. М., «Московский рабочий», 1949, с. 262.

<sup>11</sup> Там же, с. 299.

как собаку, и не чувствовать при этом ничего, кроме сознания, что вот, мол, «теперь стало на этот счет потише»».<sup>12</sup>

Невольно вспоминается щедринская формула мироощущения крестьян: русский крестьянин не просто беден, а беден осознанием своей бедности. Это та бедность, которая пронизывает страхом за свое физическое существование все поры крестьянской (да и помещичьей, как было показано выше) жизни, когда изъятие из нее лошади равносильно гибели всей крестьянской семьи. За этими описаниями крестьянского быта – сущностные черты крестьянского мироощущения, порожденные его природно-животным бытием, в котором он переживает себя как неотъемлемую часть этого бытия: и животного, и иного природного мира. Поэтому так трудно, видимо, договориться повествователю даже и с вполне разумным представителем крестьянства. Повествователь недоумевает (цикл «Крестьянин и крестьянский мир»): он живет в деревне и находится в ежедневном общении с хорошей крестьянской семьей, ведущей основательное, подлинно крестьянское, то есть исключительно земледельческое хозяйство. Но как в первый день знакомства, так и по прошествии длительного времени, ни он, ни крестьянская семья не могут проникнуться интересами друг друга. Не принимает глава этой семьи, уже знакомый нам Иван Ермолаевич, и так называемого «подстоличного» мужика, с которым у повествователя между тем общий язык находится. Вот основные хозяйственные «доводы» крестьянина и «подстоличного» мужика.

«И как это я погляжу на вас, - говорит Иван Ермолаевич: - как вы живете бессовестно! Вам бы только-только где рублевку сорвать, и всего лучше, ежели даром... Это для вас первое удовольствие... А чтобы хозяйствовать, работать как следует, на это у вас охоты нет... На чаях да на сахарах пропъете рублевки-то, а там овес покупать еще с осени надо, и хлеб покупной едите, и кругом в долгу как в шелку... Коли ежели ты крестьянин, так ты должен справляться так, чтобы тебе бы в люди ни за чем не ходить, чтобы и хлеб, и овес, и "все-всякая", чтобы все было при доме. Это и есть крестьянство, а

---

<sup>12</sup> Там же, с. 318.

ежели, вот как ваш брат, начнет пахать да в пол-деле бросит да за рублевкой там, или за тетеревом, или там за барином за каким погонится, чтобы какую-нибудь там от него бумажку выхватить, это ничего не стоит. Тут одно только расстройство для хозяйства, а от этих рублевок да тетерок - только один вред. Положим, что ты и двадцать и четвертную сорвешь там с кого-нибудь, и то кроме как вреда ничего нет, потому хозяйство забываешь...»<sup>13</sup>

На это следует отповедь «подстоличного» мужика:

«Послушать ежели тебя, - говорит он, свертывая из газетной бумаги папиросу: - то уж сделай милость, извини, а только что разговор твой вполне довольно глуп. Ты уж, сделай милость, будь так добр, на эти мои слова не огорчайся, но что окончательно твои слова есть больше ничего, как одна глупость... И когда это бывало, скажи ты на милость, чтобы мужику от денег был вред? Ты опомнись-ка немножко, подумай, что такое твои слова? Двадцать целковых - вред! Мужику! Да сделай милость, не хочешь ли, мы испробуем? Давай вот мне сейчас двадцать-то пять рублей, ну, если даже так возьмем, хошь пятьдесят целковых ты мне давай - и гляди, какой со мной случится припадок от этого... По твоим словам оказывается, будто бы это будет вред, особливо ежели задаром?.. Так вот давай испробуем... Ты выноси деньги, а я, видишь, вот у меня мешок кожаный сделан для этого, для вреда-то, а я их в мешок спрячу... А ты гляди, что будет. Может, я от этого кашлять начну или захромаю, а может, и невредим останусь... Овса тебе? Давай деньги-то, я тебе и овса представлю и хлеба, ежели тебе требуется, покуда ты там будешь ковыляться с "Андревной-то"... Выноси деньги-то! Чего ж молчишь? Скажите, пожалуйста, какую вывел рацею!.. Четвертная вред - мужику-то!.. Ну нет, друг любезный, я так думаю, что мужика деньгами никак невозможно испортить... От денег - расстройство! Ах ты, курносый ты человек, больше ничего... Послушать тебя, так действительно что смеху подобно... Кабы нам этого вреда-то побольше да почаще, так мы бы как бы

---

<sup>13</sup> Там же, с. 250.

дела-то справляли... А то от овса - польза, а от денег - вред!.. Выдумал, нечего сказать, искусно!..»<sup>14</sup>

«Подстоличный» мужик для крестьянина тоже «новый человек», то есть мужик, отбившийся от хозяйства, «подпорченный» цивилизацией. Таких мужиков Иван Ермолаевич не то что недолюбливает, а даже ненавидит. И, может быть, ненавидит как раз за их свободу, за возможность оторваться от диктата земли. В философии земледельческого труда, которую выстраивает в своих очерках Г. Успенский, во всех отношениях, кажется, полноценное крестьянское бытие Ивана Ермолаевича как раз и не имеет исторической перспективы, становится все менее и менее возможным, в отличие от «подстоличного» жития, а иногда и бродяжничества.

Успенский не только сочувствует крестьянину, но и задается кардинальными вопросами о самом способе его существования. «На том самом месте, где Иван Ермолаевич "бьется" над работой из-за того только, чтоб быть сытым, точно так же бились, ни много ни мало как тысячу лет, его предки и, можете себе представить, решительно ничего не выдумали и не сделали для того, чтобы хоть капельку облегчить ему возможность быть "сытым". Предки, тысячу лет жившие на этом самом месте (и в настоящее время давно распаханное "под овес" и в виде овса съеденные скотиной), даже мысли о том, что каторжный труд из-за необходимости быть сытыми должен быть облегчаем, не оставили своим потомкам; в этом смысле о предках нет ни малейших воспоминаний. У Соловьева, в "Истории", еще можно кое-что узнать насчет здешнего прошлого; но здесь, на самом месте, "никому" и "ничего неизвестно". Хуже той обстановки, в которой находится труд крестьянина, представить себе нет возможности, и надобно думать, что тысячу лет тому назад были те же лапти, та же соха, та же тяга, что и теперь. Не осталось от прародителей ни путей сообщения, ни мостов, ни малейших улучшений, облегчающих труд. Мост, который вы видите, построен потомками и еле держится. Все орудия труда первобытны, тяжелы, неудобны

---

<sup>14</sup> Там же, сс. 250 – 251.

и т. д. Прародители оставили Ивану Ермолаевичу непроездное болото, чрез которое можно перебираться только зимой, и, как мне кажется, Иван Ермолаевич оставит своему мальчишке болото в том же самом виде. И его мальчонко будет вязнуть, "биться с лошадыю", так же как бьется Иван Ермолаевич. Но, оставив прародителей в стороне, я, в качестве человека постороннего деревенской жизни и деревенскому труду, решительно недоумеваю и теряюсь в догадках, объясняя себе это видимое мне и совершенно непостижимое для меня равнодушие - положим, хоть в Иване Ермолаевиче - относительно "облегчения" этой необходимости быть "сытым". Я решительно не понимаю, почему Иван Ермолаевич, который непременно поднимает обрывок веревки или гвоздя, если они попадутся ему на дороге, теряет, в лице многих таких же, как и он, истинных "крестьян", сотни, тысячи рублей на продуктах собственного своего каторжного труда, сотни, даже тысячи, которые несомненно облегчили бы, улучшили его благосостояние. и дали бы возможность заботиться о мальчишке более, чем о жеребенке. В отношении этого равнодушия к собственной выгоде на моих глазах происходят удивительные нелепости. Например, сено в здешних местах - продукт, могущий доставить почти такую же денежную поддержку, как лен в Пскове или пшеница в Самаре, с тою, однако, разницею, что сено растет "даром". Косят его здесь все крестьяне, в том числе и Иван Ермолаевич, и потому что вывезти его летом нельзя, - так как местность перерезана болотом, -- продает его "по нужде" на месте за самую ничтожную цену кулакам и барышникам, которые, дождавшись зимы, то есть времени, когда болото замерзнет, вывозят сено в Петербург и продают его втридорога. На глазах всех здешних крестьян постоянно, из года в год, происходят такие, например, вещи: местный кулачок, не имеющий покуда ничего кроме жадности, занимает на свой риск в соседнем ссудном товариществе полтора ста рублей и начинает в течение мая, июня, июля месяцев, самых труднейших в крестьянской жизни, покупать сено по пяти или много много по десяти копеек за пуд; при первом снеге он вывозит его на большую

дорогу, где немедленно ему дают тридцать и более копеек за пуд. На глазах всего честного мира человек, не шевельнув пальцем, наживает поистине кучу денег, которые при всех и кладет себе в карман. Каким образом Иван Ермолаевич дорожит гвоздем, говоря: "он денег стоит", и не дорожит сотнями рублей, которые он бросает кулаку на разживу? Ежегодно деревня накашивает до сорока тысяч пудов сена, и ежегодно кулачишко кладет в карман более пяти тысяч рублей серебром крестьянских денег *у всех на глазах*, не шевеля пальцем. Дорожит ли человек своим трудом, поступая таким образом? Если он дорожит, то неужели вся деревня (двадцать шесть дворов) не может, во имя облегчения общего труда, сделать того же, что и кулачишко? Они могут занять "на нужду" в двадцать шесть раз больше, чем кулачишко, и, следовательно, "могут" быть не в кабале, "могут" даже "сделать" цену своему товару, могут ждаться цен и т. д. И ничего этого нет. Тысячу лет не могут завалить болота на протяжении четверти версты, что сразу бы необыкновенно увеличило доходность здешних мест, а между тем все Иваны Ермолаевичи отлично знают, что эту работу "на веки веков" можно сделать в два воскресенья, если каждый из двадцати шести дворов выставит человека с топором и лошадью»<sup>15</sup>.

«Что именно дает Ивану Ермолаевичу, - спрашивает далее Успенский, - переносить свое труженическое существование? Что держит его на свете, и из каких лакомых приправ сварена та чечевичная похлебка, за которую он явно продает свое первородство? Неужели, в самом деле, Иван Ермолаевич и его тысячелетние предки «бьются» только из-за податей? Или, в самом деле, из-за куска хлеба?» Ответы на свои вопросы Глеб Успенский обнаруживает в «поэзии земледельческого труда». Но в этой «поэзии» есть и то, что еще более запутывает вопросы и делает несущественными ответы. Результат труда крестьянина, размышляет писатель, не только в том, что благодаря ему он сыт. В этом труде «невидимо покоятся и существеннейшие его интересы». Ведь «земледельческий труд поглощает и его мысль, сосредотачивает в себе почти

---

<sup>15</sup> Там же, сс. 257 – 258.



всю его умственную и даже нравственную деятельность и даже как бы удовлетворяет нравственно. Ни в какой иной сфере, кроме сферы земледельческого труда... мысль его так не свободна, так не смела, так не напряжена, как именно здесь, там, где соха, борона, овцы, куры, утки, коровы и т.д. Он почти ничего не знает насчет «своих прав», ничего не знает о происхождении и значении начальства, не знает, за что началась война и где находится вражеская земля и т.д., потому что он заинтересован своим делом, ему некогда знать и интересоваться всем этим... Случайности природы он сосредотачивает в Боге. Случайности всевозможной политики – в царе... .. но в *своем* деле он вникает во всякую мелочь; у него каждая овца имеет имя, смотря по характеру...»<sup>16</sup>

По убеждению Глеба Успенского, «творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многогранность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений частных и общественных»<sup>17</sup>. И далее: «Для меня стало совершенно ясным, что творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений частных и общественных. Множество явлений русской жизни, русской действительности оказываются необъяснимыми или объясняются, фальшиво, ложно и досадно терзают вашу наблюдательность потому только, что источник этих явлений отыскивается не в особенностях земледельческого труда, сотканного из непрерывной сети на первый взгляд ничтожных мелочей, а в чем-либо другом»<sup>18</sup>. Такой видится Г. Успенскому сущность крестьянского мировидения, его неделимое, центральное и неизменное ядро.

---

<sup>16</sup> Там же, с. 267.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Там же, с. 271.

Рассуждения писателя перекликаются с тем, как определяет суть мужицкого бытия герой «Анны Карениной» Константин Лёвин. При этом очевидно, что в них столько же желания постичь пути взаимодействия с крестьянской средой, сколько и утопической неконкретности в самом определении. От этого и возникает представление о некой «тайне» народной жизни, вызывающей стороной своей обращенной к дворянскому интеллигенту, как бы требуя от него немедленного ответа. Успенский твердо верит в то, что множество явлений русской действительности оказываются необъяснимыми или объясняются фальшиво потому только, что источник этих явлений отыскивается не в особенностях земледельческого труда, а в чем-то другом.

Можно согласиться, конечно, с тем, что постижение «поэзии земледельческого труда» есть путь к пониманию того, почему, например, крестьяне до смерти забивают юного конокрада. Но сама попытка утвердить этот положительный тезис нуждается в такой сложной, многосторонней и разветвленной системе доказательств, что дело, кажется, только все больше запутывается. Чувствует это и сам Глеб Успенский, а поэтому от «поэзии» очень скоро переходит к «прозе». Ведь никуда не денешь, понимает он, «каторжную сторону труда», его историческую неизменность, другие особенности крестьянской жизни, вытекающие из непомерной тяжести такого труда. Не может не беспокоить его и тот факт, что, кажется, не так уже этот труд и «держит» крестьянина на земле, если в классической русской словесности встречается такое количество «отщепенцев», совершающих бесконечное странствие по миру. При этом их «странствие» часто не менее, чем сам труд, отмечено «поэзией».

В цикле очерков Г. Успенского «Власть земли» (1882) разворачивается история крестьянина Ивана Петрова, по прозвищу Босых. Это совсем иной, чем Иван Ермолаевич, тип. Иван Босых «принадлежит к тому ненужному, непонятному, даже прямо постыдному для такой земли, как Россия, классу деревенских людей – классу, народившемуся в последние двадцать лет, – который волей неволей приходится назвать «деревенским пролетариатом»».

Деревенский пролетариат – еще один, народившийся и обитающий в пореформенной деревне социальный класс «новых людей». Г. Успенский полагает, этого класса в России могло бы и не быть, если бы мероприятия государства и общества, обращенные к народу, «дорожили народным мирознанием», которое, как утверждает писатель, связано с «поэзией земледельческого труда». Писатель видит причины пролетаризации крестьянства, например, в постоянном нарушении прав мужика, пренебрежении его человеческим достоинством. Мужик, решающий в качестве присяжного судьбу человека, может быть выпорот в волостном правлении «до крови» только за то, что, например, будучи под хмельком не очень вежливо окликнул старшину. Но чтобы молча и безропотно сносить постоянные посягательства на человеческие свои права, крестьянину, полагает Г. Успенский, надо отказаться от всякой нравственности, от всякой духовной жизни, от всякой возможности жить по своему разуму.

Сообщая историю Ивана Босых, повествователь рассказывает о родителях Петрова, которых помнит вся деревня: когда-то были первые хозяева. Но их потомок бросил хозяйство, бьет жену. Дети его по целым дням шляются в грязных лохмотьях по деревне без призора. Иван Босых в качестве «нового человека», то есть, на более легком и денежно выгодном, по сравнению с крестьянским, заработке на железной дороге совсем «пропал». Стал пьянствовать и кутить, а когда его прогнали с работы, он был рад вернуться в свой разоренный нуждой дом. Он рад был, когда начальник дистанции «дал ему по шее и из легкой жизни опять ввергнул в трудную».

Успенский пытается открыть фундаментальную «тайну» приговоренности русского крестьянина к своему месту даже тогда, когда он, как Иван Босых, «бросил хозяйство». Тайна заключается, разъясняет писатель, в том, что «огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно сильна и детски кротка..., до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит *власть земли*, покуда в самом корне его существования лежит

*невозможность* послушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование... ..Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, - добейтесь, чтобы он забыл «крестьянство» – и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», т.е. неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь»...»<sup>19</sup>

Слова Успенского звучат так, как будто вековая прикрепленность крестьянина к земле, ее власть над ним и во второй половине XIX века так же сильны, как и столетие тому назад. Однако, повторим это еще раз, листая русскую классику, мы то и дело встречаемся с ситуацией отрыва крестьянина от земли. И всегда это – «даль», всегда – «ширь», то есть, то же самое «иди, куда хошь». Так что корневая связь мужика с землей превращается в миф в виду твердой реальности отрыва крестьянина от почвы. Может быть, это обстоятельство и понуждает Глеба Успенского, размышляющего о «власти земли», вспомнить былинно-«загадку» о Святогоре и Микуле Селяниновиче, одном из немногих персонажей как фольклорного, так и авторского отечественного искусства, полной мерой ощущающего «тягу земную». Г. Успенский все более погружается вслед за А. Кольцовым, у которого и позаимствовал формулу «поэзии крестьянского труда», в утопическое пространство мифа о принципиальной неподвижности, застылости крестьянина-земледельца в теле матери Природы, которой он живет, своим каждодневным существованием воспроизводя ее испоконвечный круг. По существу, к этому мифу, привлекательно сглаживающему противоречия реального бытия русского мужика, возвращаются едва ли не все русские классики. Правда, мифология Успенского отличается тем, что вырастает из чистой этнографии, документальной очерковости. Но и он, и другие классики

---

<sup>19</sup> Там же, с. 333.

отечественной словесности, вопреки этому мифу, то и дело заставляют своих народных персонажей пренебречь «земной тягой» и отправиться в путь.

В цикле очерков «Власть земли» Г. Успенский говорит о земледельце вообще, о некоем абсолютном его бытии и о том, что может произойти с таким земледельцем, если это его абсолютное, неподвижное бытие нарушить. Возможно, где-то в глубине былинного сюжета русский крестьянин и является таковым, но в сюжете словесности XIX века он существенно отделен от синкретной слитности с землей. Но отделенный от земледельческого труда крестьянин, крестьянин как «новый человек», по словам Г. Успенского, опошляется. Ведь «у земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы принадлежали не земле. Он весь в кабале у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону из-под ига этой власти, что когда ему говорят: «Чего ты хочешь, тюрьмы или розог?» – то он всегда предпочитает быть высеченным, предпочитает перенести физическую муку, чтобы только сейчас же быть свободным, потому что хозяин его, земля не дожидается: нужно косить – сено нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вот в этой-то ежеминутной зависимости, в этой-то массе тяготы, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная *легкость* существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: «меня любит мать сыра земля»...»<sup>20</sup>

Выстраивая образ неумолимой «земной тяги» как положительного начала в формировании крестьянского земледельческого бытия, Г. Успенский, как представляется, одновременно и нарушает гармонию трудного и трудового единства мужика и земли. Вот какое продолжение имеют процитированные выше строки: «И точно любит: она забрала его в руки без остатка, всего целиком, но зато *он и не отвечает* ни за что, ни за один свой шаг. Раз он делает так, как *велит* его хозяйка-земля, он ни за что не отвечает... а главное – какое счастье не выдумывать себе жизни, не разыскивать интересов и ощущений, когда они сами приходят к тебе каждый день, едва только открыл

---

<sup>20</sup> Там же, с. 334.

глаза!.. Ни за что *не отвечая*, ничего *не придумывая*, человек живет только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует *жизнь*, не имеющую, по-видимому, никакого результата (что выработают, то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе.

Для чего растет вот этот дуб? Какая ему польза сто лет тянуть из земли соки? Что ему за интерес каждый год покрываться листьями, потом терять их и, в конце концов, кормить желудями свиней? Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том и заключается, что он *просто растет*, просто зеленеет, так, сам не зная зачем. То же самое и жизнь крестьянина-земледельца: вековечный труд – это и есть жизнь и интерес жизни, а результат – нуль»<sup>21</sup>.

Такая закабаленность матерью-Природой есть, на наш взгляд, та безусловная правда жизни крестьянина-земледельца, которая в поэзии Н.А. Некрасова оборачивается демонической властью языческого божества (и у Г. Успенского, кстати говоря, природа не тварь, а творящая сила), постоянно угрожающего крестьянину погибелью в образе суровой Зимы. А власть Природы «сотрудничает» у Некрасова с властью социальной – властью государства, помещика, превращая жизнь крестьянина в сплошное страдание. Возникает образ двойной «крепи»: со стороны матери Природы и барина (государства) отца. И то и другое воссоединяется в образ некой безликой давящей до уничтожения силы, требующей от мужика безусловного рабского повиновения. Так крестьянин, действительно, превращается в раба, от которого нечего ждать ответственности за его поступки, поскольку все они заранее оправданы властью этой Силы.

Но ведь существует и логика Истории, и ее власть, которая изнутри существования крестьянина кажется незначимой, точнее говоря, не имеет никакого определяющего объяснения ни с точки зрения персонажа-крестьянина, ни с точки зрения повествователя. Так, Иван Босых у Г.

---

<sup>21</sup> Там же, с. 337.

Успенского рассказывает об обнищании их когда-то довольно крепкого семейства. После того, как его выгнали с железной дороги, он за домашнее хозяйство взялся с радости, «как медведь начал ворочать вокруг дому». Но проработал так недолго. Краткосрочность своего трудового энтузиазма Иван объясняет так: «Уж раньше было мое хозяйство все в расстройстве, в разбросе, да и настояще избаловался насчет вина. Захватит, затоскуешь – и выпьешь... Н-ну, а уж попала муха – какая тут работа? С вина хозяином не будешь – иди спи... А хозяйство стоит... Так и пошло день за день, слабей да слабей, вот и достукался до поденщины...»<sup>22</sup>

Таково объяснение происходящего с Иваном, в его собственной трактовке: захватит, затоскуешь! Какова же природа этой тоски? Извечная, русская «нудьга» или же попросту муки алкоголика? Во всяком случае, здесь действует уже иная, чем хтоническая или социально-государственная, власть, олицетворенная в спиртном, тоже своеобразном божке крестьянской жизни. Многие связывают эту тоску с бесконечной беспросветностью жизни мужика, похожей на то поле, которое он пашет в щедринской сказке «Коняга». Такое унылое и тяжкое существование тяжелее самой смерти, судя по образам поэзии Некрасова.

Доискиваясь смысла Иванова «расстройства», повествователь узнает историю Босых, начиная от времен прадедовских, из глубины, так сказать, «золотого века» семейства. Именно таким видится крестьянину его прошлое – как время утопического «всегда», чему и крепостное право не помеха. Оно, крепостное право, и у Кольцова выносится за скобки поэтического сюжета. Итак, в прежнее время семья Босых, их дом – первые были в крестьянском хозяйствовании. И скотина, и люди – один к одному. И «босыми» их прозывали потому, что весь род силачи были. Когда в моду ввели сапоги, дед Ивана никак не могу эту обувь на ногу надеть. «Первое, что нога у него как столб какой, прости господи, или вот как тумба какая; а второе, как надел

---

<sup>22</sup> Там же, с. 348.

сапог – ступить не может; неловко, ноги горят от жара. А вот босиком так в трескучий мороз десять верст пройдет, только дым от ног идет...»<sup>23</sup>

Как видим, «золотому веку» семьи Ивана и свои первотворцы-герои нужны, сродни мифологическому Микуле Селяниновичу. Таков описанный дедушка, которого Иван помнит уже перед самой его кончиной. А в расцвет героической эпохи, рассказывали, «бывало, захворает чем, занедужает – никогда на печку не лез, а зимою ли, летом ли – прямо в бор, кости поразмять, да там, в бору-то, топором того натворит, страсти поглядеть что!.. Чисто медведь с волками дрался – столь много наломано, нарубано, навалено... Размается на работе, раздымет его всего, а прибежит домой, рубаху мокрую снял – и здоров. Только всего и леченья его было...»<sup>24</sup>

Это, конечно, совсем не похоже на некрасовского Прокла из поэмы «Мороз, Красный нос», которого сводит в могилу то ли зима, то ли невыносимая жизнь крестьянина. Но на страницах русской классики время от времени возникают и богатыри, вроде деда Ивана Босых. Их «богатырство» часто в то же время заключается даже не в физической силе, а в некой естественной внутренней цельности, бесконфликтности. Таков, в каком-то смысле, некрасовский Савелий из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», но таков и толстовский Платон Каратаев – это все разные стороны единого мифа о «золотом веке», а точнее, о некой внутренней сущности русского мужика, непреходящей и неизменной, не требующей доказательств, а поэтому чаще всего толкуемой сквозь религиозные представления.

Семейство Босых, по рассказам Ивана Петрова, было, что называется, семейство «элитное». «Вот за это-то самое, за нашу породу, наше семейство и было у барина на примете; в солдаты из нашей семьи барин никого не отдавал, а все отсаживал в другие свои деревни на развод племя... То девку возьмет – парня ей купит под кадриль, Еруслана какого-нибудь, в Самарскую губернию отсадит, то брата с женой, с сыном в курень... Так и растыкал всех по

---

<sup>23</sup> Там же, с. 359.

<sup>24</sup> Там же.



одиночке. Остался я один с бабой и с дедом, а отец с матерью и бабушка в холеру померли...»<sup>25</sup>

Как видим, и «золотой век» не был таким уж благостным: социальное разымало природную силу семейства. Поскольку, с точки зрения барина, семья Босых выглядела чем-то вроде элитной породы животных, он усердно занимался социальной селекцией, в результате чего семья распалась. Поэтому Иван Петров и называет себя «последышем».

Цельность русского крестьянского «богатырства» схватывается отечественной словесностью как бы на излете, на самом пороге распада. Вот и в рассказе Ивана Босых мы видим умирающего патриарха, кончина которого исторически совпадает с отменой крепостного права, с «освобождением», заставившем «новые порядки узнавать». Это и есть логика истории, вступающая в сложный диалог с «властью земли». «А новые-то порядки нашему брату трудноваты. Первое, что при барине мы знали одно – работу; что скажут, то и делали: навалим ему хлеба; свезем в город, деньги он возьмет и уж как сам знает, так и путается с начальством, - а тут то тот, то другой тормозит... Да, деньги... Они хоть и не велики да добывать-то их мы непривычны...»<sup>26</sup>

Так Иван познакомился с «тенетами деревенских биржевых операций». Новые порядки, то есть проникновение первых семян капитализма в деревню, по Успенскому, ознаменовали фактически конец крестьянского земледельческого мира, фундаментально опирающегося на порядки, установленные «властью земли». Г. Успенский убежден, что здесь дает о себе знать национальная катастрофа, нависшая над земледельческой Россией и аукнувшаяся в конкретной жизни Босых неизбежной тоской. «... Остался я без лошади, и такое меня взяло зло, такая лютость, точно бес меня осенил. Жена было заголосила, а ее бить... Теперь я без лошади и без коровы, и сено не на чем возить, и драть грозятся – кипит у меня все нутро... Завыла она. Я – раз ее

---

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> Там же, с. 361.

в грудь, а брюхатая была; и это, что брюхатая-то она не вовремя, тоже меня озлило... Стала она кричать, а я злей да злей; побелело у меня в глазах от злости... Прр-ямо в кабак!»<sup>27</sup>

Существенно, что сам Глеб Успенский в каждом из циклов своих очерков в центр ставит именно такую крестьянскую судьбу и именно она волнует нас своей несомненной достоверностью. Но второй план уходит в сюжетах Успенского земледельческий миф или его отражение. Так, например, в цикле очерков «Кой про что» (1885) встречаем деревенского парнишку Петьку, ставшего «навек новым», «фабричным, машинным человеком». Он вышел из захудалой крестьянской семьи. «Скучно, страшно, холодно в захудалом дворянском доме, в захудалой дворянской семье, - отмечает Успенский, - но в захудалой крестьянской семье страшно и холодно до ужаса! Какая угнетающая душу и мысль тоска и пустота, а главное, бессмыслица веет от этого хлама, который там и сям валяется на разоренном дворе! Что такое означают эти старые оглобли, эти два сломанных колеса, эта бочка, разохшаяся и развалившаяся? Зачем этот пустой хлев, эти ворота на одной петле, эти пустые кадки, шайки с признаками корма и следами капусты? В доме нет *силы*, нет тепла, цели в труде, и весь этот хлам ужасает своею бессмыслицею, тяжеловесностью, топорностью, а главное - полнейшею невозможностью найти в своем сознании какую-нибудь связь бездушного хлама с удручающим испугом пред жизнью, пред белым днем, пред каждым живым человеком»<sup>28</sup>.

В Петькином доме «не было силы на крестьянство». Успенский регистрирует разницу между Петькой и «настоящими крестьянскими ребятишками», которые и не подобострастны, и не завистливы, и свободны в силу своей естественности. Эти крестьянские дети, которые возникают в воображении писателя как антитеза Петьке, очень напоминают соответствующий образ у Некрасова, с той только разницей, что Г. Успенский как бы не замечает известной театральности, «невсамделишности» образа. На

---

<sup>27</sup> Там же, с. 365.

<sup>28</sup> Успенский Г., 1958, с. 348.

фоне театральных крестьянских ребят, которые не кажутся такими уж «настоящими», фабричный Петька выглядит еще более убедительным в своей реалистичности.

Серьезной убедительностью переживаний наполняется и рассказ ямщика из цикла «Невидимки»: «Упираемся идти в отход всячески, и уж изо всех сил дом бережем! У нас этого нет, чтоб на фабрику уйти, пока Бог хранит... А трудно! И бабам трудно, и мужикам невоготу... .. невоготу жить стало. Арендуем земли по тридцать рублей под лен... Нельзя без денег обойтись, то и дело: «отдай, отдай!» ... В прежнее время прямо возили в город в первые руки, и цена была хорошая, а теперича Господь наслал на нас саранчу – «скупщиков»!.. .. Да и земля-то не родит, исчахла... А все крепимся, все к дому жмемся, не хотим оторваться или, сохрани Господь, баб наших пустить в отход...»<sup>29</sup>

В условиях «новых порядков» удержать крестьянский дом от распада, судя по словам ямщика, стоит немалых усилий. Здесь и «власть земли» не помогает, поскольку земля утратила свою властную силу и крестьянин должен бы вернуть эту силу ей, но лишен понимания того, что с ним и вокруг него происходит. Логика исторических событий, логика правды, диктуемой «новыми людьми», оказывается гораздо более «властной», нежели двойная «крепь» - природы и господ. Правда, именно влиянием этой крепь и объясняется такая малоподвижность и неуверенность крестьянина перед надвигающимися на него «новыми порядками». Привычный к послушанию, долготерпению вкупе с безответственностью, он оказался неготовым выпутываться из «тенет биржевых операций», требующих максимума самостоятельности. «И банк есть, и земля есть, и мужик есть, которому земля нужна, все есть! – сетует все тот же ямщик. – И все бы хорошо, да замешался между ними тремя жадный человек, такой же наш брат мужик, как волк, и все на свою сторону норовил обернуть, и банк, и землю...»<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Там же, сс. 416 - 417.

<sup>30</sup> Там же, с. 417.

Странное, почти мистическое явление этот новый «жадный человек», «новый человек» чичиковской породы, но все из тех же самых мужиков. Почему-то нет на него никакой управы, а напротив – он со всем и всеми управляется. Он как раз тот редкий, исключительный экземпляр мужицкой самостоятельности, такой дефицитной в широкой крестьянской массе. Не он ли дальний родственник незабываемому тургеневскому Хорю и самый близкий – чеховскому Ермолаю Лопахину? А крестьянская масса, между тем, все более и более впадает в глубокую тоску воспоминаний о временах безответственного растительного существования под приглядом барина и властью «зеленой травки»...

\* \* \*

Над процессами капитализации деревни размышляет и другой писатель народнического направления – **С. Каронин (Н. Е. Петропавловский) (1853-1892)**. Недолгая его жизнь была насыщена событиями активной революционной борьбы: народническая пропаганда, арест, суд по «процессу 193-х», Петропавловская крепость, высылка на пять лет в Сибирь. По словам Г.В. Плеханова, в произведениях Каронина отразился важнейший из социально-исторических процессов - разложение старых деревенских порядков, исчезновение крестьянской непосредственности, выход народа из детского периода его развития, появление у него новых чувств, новых взглядов на вещи и новых умственных потребностей. Подобно тому, как у Некрасова собирательный образ русского крестьянства является в вахлаках, у Щедрина – в глуповцах, у Решетникова - в подлиповцах, у Г. Успенского – в распясовцах, так и Каронин создает для нашего мужика имя нарицательное – парашкинцы.

Первый очерк Каронина «Безгласный», написанный в Петропавловской крепости, послужил началом его основного писательского цикла «Рассказы о парашкинцах». Прозе Каронина свойственна очерковость, ее погруженность в крестьянский быт, в реальную жизнь деревни пореформенного времени. Вместе с тем, его произведениям свойственна известная мифологичность, что

позволило Горькому в его воспоминаниях назвать Каронина «одним из творцов «священного писания» о русском мужике, искренно веровавшем в безграничную силу народа»<sup>31</sup>. Но при этом самый очевидный плод социально-экономического творчества народа - устройство крестьянской жизни, «мир», «община» всем строем очерков Каронина подвергается сомнению.

В рассказе «Фантастические замыслы Миная» в который раз является перед русским читателем поэтический тип крестьянина, сродни тургеневскому Калинычу. Минай, отчаянный мечтатель и фантазер, человек с душой вольной птицы, всем своим существом неразрывно связан с парашкинским крестьянским «миром». В трудные минуты жизни он всякий раз «обращал глаза на мир и ждал: вот-вот мир что ни на есть придумает. Мир для него был крепостью, где он спасался от неприятеля. А неприятелей у него было много...»<sup>32</sup>

Но «мир» не спас Миная от голода и разорения. Напротив, все те, кто оставался в селе, неминуемо превращались в нищих. Кое-как могли существовать лишь те парашкинцы, которые уходили на заработки. Процветали же и обогащались только люди, противостоявшие «миру», живущие не по мирским, а по эгоистическим, частно-собственническим законам. В этой связи у Каронина появляется тип, порожденный «новыми порядками», - Епишка Колупаев. Епишка – кабатчик, чуть не со слезами вымоливший у парашкинцев право держать этот самый кабак. Потом ему удалось с помощью каких-то подвохов купить землю у барина. И с тех пор Епишка преобразился. Вся картина этого преобразования показана у Каронина с точки зрения Миная, ненавидящего кабатчика. Кабака Епишка не бросил и при этом опутал парашкинцев сетью обязательств (вот они – тенета!), так что вытурить его уже было невозможно. Минай на сходе общины на чем свет ругал кабатчика, но иногда почти немедленно после этого отправлялся в кабак

---

<sup>31</sup> Горький М. Собр. соч. в 30 тт. М., Гослитиздат, 1949 -1956, т. 10, с. 306.

<sup>32</sup> Каронин С. (Н.Е. Петропавловский). Сочинения в 2-х томах. М., Государственное издательство художественной литературы.Т.1., 1958, с. 54.

и просил водки в долг. В конце концов, понуждаемый голодом, Минай заключил с Епифаном Колупаевым договор, по которому за мешок муки продал и себя, и все свое нищее хозяйство. Вскоре, бросив на произвол судьбы жену и детей, Минай убегает в город, спасаясь от епишкинской «каторги».

Присмотримся к фигуре «мироеда», которая все чаще возникает на страницах прозы XIX к концу столетия. По о этому поводу Г.В. Плеханов делает важный вывод в своих критических очерках, посвященных народническому направлению в отечественной словесности, в частности осмысливая в этих произведениях образ кулака. В процессе разложения деревни и одновременного неизбежного распада общины в условиях капитализации страны у крестьянина, по убеждению русского марксиста, есть два выхода: или оставить деревню и искать счастье на стороне, как это и случилось с Минаем, или примкнуть к деревенскому «третьему сословию», сделаться кулаком, который мог и питаться получше и не опасаться розог, заготовленных в волостном правлении. Г.В. Плеханов считает этот второй путь наиболее продуктивным в создавшихся условиях. Он ссылается на А.Н. Энгельгардта, который утверждает, что кулаками в деревне становятся, по большей части, очень талантливые и выдающиеся люди. Действительно, в «Письмах из деревни» читаем: «Известной долей кулачества обладает каждый крестьянин, за исключением недоумков, да особенно добродушных людей, вообще карасей. Каждый мужик в известном смысле кулак, щука, которая на то и в море, чтобы карась не дремал... .. У крестьян страшно развит эгоизм, индивидуализм, стремление к эксплуатации. Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству – все это сильно развито в крестьянской среде. Кулаческие идеалы царят в ней. Каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася»<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872 - 1887. М., Сельхозгиз, 1956, с. 397-398.

И уход крестьян из деревни, и укрепление кулака особенно понимаются Плехановым как процессы исторически прогрессивные, связанные с рождением новых форм общественного производства. Отметим здесь и другое важное обстоятельство - рост личностного самосознания крестьянина в условиях капитализации России и отражение этого процесса в произведениях той же народнической литературы. Герой из крестьянской среды начинает рефлектировать по поводу происходящего с ним и вокруг него, в «опчесве». Ведь неслучайно, как отмечает Плеханов, и у Глеба Успенского, и у Златовратского, например, есть образы людей из народа, которые берутся за кулаческую наживу затем только, чтобы «оградить от поругания свое человеческое достоинство»<sup>34</sup>.

Другое дело, что ни у каждого крестьянина доставало материальных средств, чтобы войти в кулаческую среду. А кроме того, здесь требуются и особые морально-психологические качества, о которых пытается сказать Энгельгардт, чтобы ускользнуть, ловить случай. В цикле очерков Каронина «Снизу вверх. (История одного рабочего)» (1883-1886) ведут диалог представитель «крестьянской буржуазии» Иван Шаров и его приятель Михаила Лунин, покинувший деревню и ставший примерным пролетарием. Михайло осуждает способность Ивана «вертеться»...

«... - Без этого нельзя, пропадешь, - возражал последний. – Надо ловить случай, без дела сидеть – смерть...

-Да разве ты работаешь? По-моему, ты только бегаешь зря.

- Может и зря, а иной раз и подвернется счастье, а уж тут... На боку лежа, ничего не добудешь. За счастьем-то надо побегать...»<sup>35</sup>

Так проявляет себя нарождающееся в крестьянине личностное противостояние рабскому прозябанию и под «властью земли», и под всякой иной властью, к чему оказывается готовым не всякий деревенский житель. Тот же Минай на самом деле страшно завидует оборотистости Епишки и его

---

<sup>34</sup> Плеханов Г. В., т. 5, с. 82.

<sup>35</sup> Каронин С., т. 1, с. 295.

способности противостоять «опчисву». Его думы все время упираются в эту способность кабатчика – быть свободным от крестьянского «мира». «Епишка ни с чем не связан, Епишка никуда не прикреплен; Епишка может всюду болтаться... Минай неминуемо приходил к выводу, что для получения удачи необходимы следующие условия: не иметь ни сродственников, ни знакомых, ни «опчисва» – жить самому по себе. Быть от всего оторванным и болтаться, где хочешь... Но Епишка теперь уже не гуляет по воле попутного ветра: он утвердился. Главная его сила в том, что он знать никого не хочет. Сидит себе на своей земле и в ус не дует... «Апчесвенной» тяготы на нем нет, ни за кого он не болеет; знай себе хватает в обе руки... . . . Чтобы хорошо жить, надо быть оторванным от всего, гулять по воле ветра и все делать одному и на свой страх...»<sup>36</sup>

Но у Миная как раз и не развита эта способность противостоять диктату общины, к которой, как мы знаем, он привязался. Кроме того, он знал, что «опчисво» не так-то легко отпускает своих членов и всякий воображаемый побег в сознании Миная оканчивался одной роковой репликой от лица «опчисва»: «Ложись!». Таким образом, на подвиг кулачества не так легко решиться. Это выглядит исключительным моментом индивидуального противостояния всему – от «власти земли» до «опчисва», - что так или иначе пресекает его самостоятельность, развитие способности выбирать и ответственно принимать решение самому.

С точки зрения Плеханова, здесь действует еще более страшная, нежели государство, сила, толкающая Россию на путь капитализма. «Она называется внутренней логикой народных экономических отношений. И нет власти, которая могла бы остановить ее действие! Она проникает везде, ее влияние сказывается повсюду, она накладывает свою печать на все попытки крестьян улучшить свое хозяйственное положение»<sup>37</sup>. Действие «логики народных экономических отношений» отражено, по мнению Плеханова, в рассказе

---

<sup>36</sup> Там же, с. 105, 106.

<sup>37</sup> Плеханов Г. В., т.5, с.117.



Каронина «Братья»(1881), примыкающего по своему содержанию к основным циклам крестьянских рассказов писателя, в которых развивается тема разложения общины, классового расслоения в деревне.

Крестьяне села Березовка переселились из внутренней России в одну из привольных степных губерний. На родине они бедствовали. На новых местах им удалось добиться некоторого материального довольства. Но на прежнем месте, где они жили в нужде и несчастье, у них, тем не менее, «была одна душа», как говорили старики. На новых же местах началось внутреннее разложение общества, завязалась борьба между индивидом и «миром». «Мало-помалу каждый сельский житель стал сознавать, что он ведь человек, как все! И создан для себя, и больше ни для кого, как именно для себя! И каждый ведь сам может жить, устраиваясь без помощи бурмистра, кокарды и «опчисва»...  
... Каждый из сельских жителей часто *думал* об этих явлениях; и решительно не было ни одного человека, который в свободные минуты не думал бы купить себе участочек, завести «лавочку, что ли, ин кабак». Никто из мужиков не осуждал нравственно людей, живших подобными предприятиями; напротив – «любезное это дело!». Людей такого сорта уважали, считали «шельмовство» одною из способностей человеческого разума. И в то же самое мгновение каждый из березовцев уважал мир, покоряясь ему и продолжая жить в нем»<sup>38</sup>

Плеханов видит в этих событиях залог дальнейшего роста пролетарского сознания в крестьянских массах. Нам же хотелось бы пристальнее взглянуть на то, что происходит в сознании, в психике, так сказать, отдельного, частного человека, вылупляющегося из «сплошного», по выражению Г. Успенского, крестьянского «мира». Этот человек, прежде всего, начинает требовать «примерки» всех социально-экономических процессов на него как на индивидуальность, хочет их, эти процессы, с той же, индивидуальной точки зрения, и оценивать. Вот почему на страницах каронинской прозы то и дело возникает понятие «совести», «мысли», в «темной области» которых и произошла «самая поразительная из перемен». А в «темной» этой области

---

<sup>38</sup> Каронин С., т. 1, с. 481, 482, 483.

произошел раскол. «Явились две совести, две нравственности. Мужик уважал мир, но уважал и человека, который жил без всякого мира; он думал, что надо жить в мире, но было бы, пожалуй, лучше выехать из него; он был общинник, признавая в то же время право на полную особность; он жил в деревне «соопча», не считая дурным делом бросить ее и зажить в лавочке; он растерялся в этих мыслях, не решив, как лучше – пахать мирскую землю или попробовать другое «рукомесло», остаться на миру, «кабак» завести, считать мир храмом или обворовать его и не считать такого дела постыдным. Этот раскол совести сделал возможными такие явления, в возможность которых никто раньше не поверил бы...»<sup>39</sup>

Описываемый «раскол совести» всегда носит индивидуально-личностный характер, конкретизируется в психике, сознании конкретного человека, а в литературном произведении – в образе определенного персонажа. И здесь принципиальным моментом является то, что это образ человека уже не из образованной среды, как это бывало до сих пор в русской литературе, а из среды крестьянской.

Г.В. Плеханов отмечает важную особенность новой для крестьянства, для деревни социально-психологической ситуации, состоящую в том, что на сторону новых форм общественного бытия «склонялись наиболее энергичные и наиболее даровитые натуры», хотя эти, буржуазные формы заставляют подобные искания принимать «очень некрасивый вид»<sup>40</sup>.

В рассказе «Братья» главные персонажи – Иван и Петр Сизовы. Иван, наивный как ребенок, привержен «миру». Он и бывает истинно счастлив, когда приходится исполнять какое-либо мирское дело сообща. Петр же, умный, настойчивый, деятельный, изобретательный, себялюбивый, презирает общину. Он становится кулаком. И «мир» уважает его, перед ним все снимают шапки, его называют «башкою». Ивана и Петра посылают прикупить у казны на

---

<sup>39</sup> Там же, с. 483.

<sup>40</sup> Плеханов Г. В., т. 5, с. 118.

общий счет участок земли. По пути между ними возникает знаменательный диалог, предваряющий дальнейшие события, диалог о «кулацкой» совести:

«... - Ну-у!.. – протянул глухо Петр. – Совесть, брат, темное дело...

- А мир? – спросил Иван.

- Какой такой мир! – презрительно заметил Петр... - Каждый свою пользу наблюдает, хотя бы в миру. Разве мир тебя произродил? ... Мир тебя поит, кормит?

- Ты не туда...

- Нет, я туда... Каждый гнет свою линию. Как есть ты человек и больше ничего. А мира нет...»<sup>41</sup>

По завершении дела выясняется, что купчая оформлена на имя Петра Сизова, что для Ивана оказалось совершенной неожиданностью. Как же ведет себя «мир», к которому так был привязан Иван? Общинники отколотили его, ни в чем не повинного, но даже пальцем не тронули Петра. А Петр сказал «опчисву», что купчая «не для них писана» и обещал возвратить со временем деньги, чего не сделал, конечно. А березовцы поговорили-поговорили, да и пошли обрабатывать по найму у Петра Тимофеевича Сизова у них же украденный участок земли...

С точки зрения Плеханова, нравственная аморфность и бессилие общины ничуть не лучше кулацкой предприимчивости и неразборчивости Петра Сизова. Однако не все даровитые люди деревни этого периода становятся кулаками. На соответствующее стечение обстоятельств может рассчитывать лишь меньшинство. «Большинству же приходится приспособливаться к переживаемому деревней историческому процессу иначе: оно или покидает деревню, или продолжает там жить, устраиваясь на новых началах, забывая о той тесной, органической связи, которая соединяла когда-

---

<sup>41</sup> Каронин С., т.1, с. 490.

то членов одной общины. ...Индивидуализм, внедряясь в деревню со всех сторон, окрашивает решительно все чувства и мысли крестьянина»<sup>42</sup>.

В то же время Плеханов предостерегает от того, чтобы считать торжество индивидуализма только отрицательным явлением. Вторжение его в русскую деревню «пробуждает к жизни такие стороны крестьянского ума и характера, развитие которых было невозможно при старых порядках и в то же время было необходимо для дальнейшего поступательного движения народа...»<sup>43</sup>

Впрочем, литература 70-х - 80-х годов XIX столетия регистрировала не столько «поступательное движение народа», сколько растерянность большинства конкретных крестьян, их неустойчивость, метания в новых условиях. А что касается исторической перспективы, то, забегая далеко вперед, посмотримся, например, в «странных людей» В. М. Шукшина и увидим в них те же беспокойство, метания и растерянность, а вместе с тем и взрывоопасность их мгновенных прозрений относительно того, что с ними происходит. Интересно, что некоторые сюжетные ситуации, диалоги, которые предлагает проза Каронина, живо напоминают об основе новеллистического сюжета Шукшина – о психологии съехавшего с корня жителя деревни.

Персонажи Каронина уже в 1880-е годы противостоят синкретной цельности мифа о традиционном крестьянском типе – о таком, например, крестьянине, какого рисует в своей прозе Л.Н. Толстой. Один из наиболее ярких таких типов у Каронина предстает в рассказе «Деревенские нервы» – крестьянин Гаврило (Обратим внимание на вполне «шукшинское» название рассказа). Он, по старым деревенским меркам, достаточно зажиточный человек, чем-то напоминающий нам Ивана Ермолаевича из очерков Г. Успенского. Но на него, в отличие от Ивана Ермолаевича, «вдруг нападает, невыносимая безысходная тоска, под влиянием которой у него из рук валится всякая работа». Чтобы разрешить свою тоску, Гаврило обращается к священнику (вспомним «Верую!» В.М. Шукшина), поскольку его так «здорово

---

<sup>42</sup> Плеханов Г. В., т. 5, с. 121.

<sup>43</sup> Там же.

приперло», что он готов «хотя бы руки на себя наложить». А далее следует диалог, как будто позаимствованный из прозы Шукшина, который мы процитируем достаточно полно, поскольку, с нашей точки зрения, он наглядно демонстрирует зарождение новых форм самосознания крестьянина - героя отечественной словесности:

«- ... Что ты говоришь? Разве можно иметь такие греховные мысли? – недовольным тоном сказал батюшка...

- Грешно – это справедливо. Потому, против Бога. Вот я и пришел насчет души поговорить... Болит у меня, прямо надо сказать, душа, тоскую, а об чем, об каких случаях, того не знаю... Дивное дело! Жил, жил, всё ничего, а тут вдруг вон куда пошло! И хотел бы дознаться, отчего это бывает?

- Как же она у тебя болит, душа-то?

- Да так, сам не знаю, в каком роде... вижу, что главная сила в душе. Отчего это бывает?

- Тоска, говоришь?

- Не одна тоска, а всё. Иной раз ску-учно станет! И до того уж дойду, что сам как есть не в своем виде...

- Трудись хорошенько. Скука происходит от праздности, - посоветовал батюшка.

- Так ведь я допрежь этой пакости не отлынивал от работы и сейчас бы рад работать, да не могу! Скучно!.. Тошно мне смотреть на все... И рад бы приспособить себя к делу, а, между прочим, скучно... Отчего это бывает?

- От различных причин бывает... - многозначительно ответил батюшка, но в полной мере недоумевая.

- А то случается, что я все думаю разные мысли, - продолжал Гаврило.

- Какие же мысли ?

- Да мысли-то, по правде сказать, не настоящие, а все больше предсмертное приходит мне в голову...

- То есть как это предсмертные? – спросил батюшка, побледнев и с сердцем.

- Да так, о смертях, вишь, я все думаю, - пояснил Гаврило.

- Дуришь, я вижу, ты!..

... - Сам вижу, грех, а не могу... Вижу которого, например, человека и думаю: «Зачем ты живешь?» И про себя у меня такие же мысли. Делал бы, работал бы с удовольствием, а не знаю, что к чему... Потому я и спрашиваю, как бы эту хворь вывести... очень она меня убивает!

- Да я не понимаю, какая хворь! По-моему, дурь одна... какая это хворь! – нетерпеливо сказал батюшка, которому стал надоедать этот разговор.

- Жизни не рад – вот какая моя хворь! Не знаю, что к чему, зачем... и к каким правилам... - упорно настаивал Гаврило.

- Ты ведь землепашец? – строго спросил батюшка.

- Землепашец, верно.

- Чего же тебе еще? Добывай хлеб в поте лица твоего и благо ти будет, как сказано в писании...

- А зачем мне хлеб? – пытливо спросил Гаврило.

- Как зачем! Ты уж, брат, кажется, замололся... Хлеб потребен человеку.

Батюшка проговорил это лениво, не зная, как отвязаться от странного мужичонки.

- Хлеб, точно, ничего... хлеб – оно хорошее дело. Да для чего он? Вот какая штука-то! Нынче я ем, а завтра опять буду есть его... Весь век сваливаешь в себя хлеб, как в прорву какую, как в мешок пустой, а для чего? Вот оно и скучно... Так и во всяком деле, примешься хорошо, начинаешь работать да вдруг спросишь себя: зачем? для чего? И скучно...

- Так ведь тебе, дурак, жить надо! Зачем ты и работаешь, - сказал гневно батюшка.

- А зачем мне надо жить? – спросил Гаврило.

Батюшка плюнул.

- Тьфу! ты, дурак эдакий!

- Ты уж, отец, не изволь гневаться. Ведь я тебе рассказываю, какие мои предсмертные мысли... Я и сам ведь не рад; уж до той меры дойдет, что тошно, болит душа... Отчего это бывает?

- Будет тебе молоть! – сказал строго батюшка, собираясь покончить странный разговор.

- Главное – деваться мне некуда! – возразил грустно Гаврило.

- Молись Богу, трудись, работай... Это все от лени и пьянства... Больше мне нечего тебе присоветовать. А теперь ступай с богом, - и батюшка при этом решительно встал...»<sup>44</sup>

Попытка разрешить свои «проклятые» вопросы заканчивается совсем пошукшински: Гаврило начинает чудить, грубить священнику, затем оскорбляет фельдшера, дерется со старшиной и попадает за все это в острог. Его спасает тот же фельдшер, обративший внимание суда на болезненное состояние подсудимого. Успокоился Гаврило в городе, где нашел место дворника. «Разве можно что-нибудь думать о метле или по поводу нее? У него в жизни метла одна и осталась, - итожит С. Каронин. – Вследствие этого мыслей у него больше не появлялось. Он делал то, что ему приказывали. Если бы ему приказали этой же метлой бить по спинам жильцов, он не отказался бы. Жильцы его не любили, как бы понимая, что этот человек совсем не думает. За его позу перед воротами они называли его «идолом». А между тем он виноват

---

<sup>44</sup> Каронин С., т.1, с. 504-506.

был только тем, что оборванные деревней нервы сделали его бесчувственным»<sup>45</sup>.

Г.В. Плеханов объясняет состояние Гаврилы, как и других подобных ему персонажей Каронина, социально-историческими причинами, тем, главным образом, что общество вошло в состояние некой болезненной кризисности. Физически и нравственно здоровые люди живут, работают, учатся, борются, а больные – задают себе неразрешимые вопросы. «Употребляя выражение Сен-Симона, можно сказать, что болезненное стремление разрешить неразрешимое свойственно критическим и чуждо органическим эпохам общественного развития. Но дело в том, что и в критические эпохи под этим стремлением задумываться над неразрешимыми вопросами скрывается вполне естественная потребность открыть причину испытываемой людьми неудовлетворенности. Как только она открыта, как только люди, переставшие удовлетворяться своими старыми отношениями, находят новую цель в жизни, ставят перед собой новые нравственные задачи, от их склонности к неразрешимым метафизическим вопросам не остается и следа. Из метафизиков они вновь превращаются в живых людей, о живом думающих, но думающих уже не по-старому, а по-новому...»<sup>46</sup> Так Плеханов толкует социально-историческую тенденцию в становлении самосознания русского крестьянства.

Между тем в истории русской литературы отрыв крестьянина от его корней, преодоление «власти земли», уход в бесконечное странствие, нарождение «проклятых» вопросов в его пробуждающемся самосознании есть величина едва ли не постоянная. Похоже, русский крестьянин переживает болезнь кризиса, о которой так убедительно говорит Плеханов, еще со времен Микулы Селянинович, который оставляет свои земледельческие заботы и отправляется вместе с Вольгой за «получкой». Во всяком случае, это состояние переживается большинством из персонажей «Записок охотника» Тургенева – и так вплоть до 1880-х годов, когда на свет являются «съехавшие

---

<sup>45</sup> Там же, с. 516.

<sup>46</sup> Плеханов Г. В., т. 5, с. 125.



с корня» крестьяне С. Каронина, так разительно похожие на героев В.М. Шукшина, возникших в русской прозе почти через сотню лет. А в 1980-е годы кризисная надломленность крестьянского мирознания есть уже общее место, когда даже мужики, вроде Хоря, впадают в эту, как выражается Гаврило, хворь.

Самого Гаврилу можно отнести к «крепким» мужикам. Об этом мы узнаем из рассказа «Две десятины» (цикл «Рассказы о пустяках», 1882). Он ничего не умел и ни к чему не питал склонности, что бы не касалось земли. Он похож на Ивана Ермолаевича из очерков Г. Успенского «Власть земли». В беседах с людьми интеллектуального труда Гаврило, подобно Ивану Ермолаевичу, производит впечатление человека туповатого, поскольку во время таких бесед думает о своем, о том, что связано с его землепашеской призванностью. «Душа и сердце Гаврилы, - поясняет Каронин, - были зарыты в землю. Он походил на растение, которое неразрывно соединено с землей и, вырванное, засыхает и чахнет, годно только на съедение скоту»<sup>47</sup>.

Однако это свое «растительное» существование, что специально подчеркивается писателем-народником, Гаврило не переживал как состояние рабски зависимое. Ведь самый яркий признак рабства – это ощущение неволи, а «у Гаврилы и ему подобных душа и сердце *сознательно* были зарыты в землю, составлявшую неразрывную часть его самого»<sup>48</sup>. Крестьянин пахал более двадцати лет, ничего не получая в награду, кроме нечеловеческой усталости. Всю жизнь мечтал, как бы еще больше вспахать и засеять, и, «собирая ежегодно вместо настоящих плодов березовую кашу, приходил в отчаяние, но ни разу не пришла ему в голову мысль, что земля – его враг, что он должен ее бросить и бежать без оглядки на поиски других занятий. Гаврило, после всех бед, какие приносила ему земля, сделался только жаднее – вот и все»<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Каронин С., т. 1, с. 195.

<sup>48</sup> Там же.

<sup>49</sup> Там же, с. 196.

Нам трудно согласиться с этими акцентами Каронина, следуя даже его собственной логике. Ведь писатель то и дело обнаруживает именно нутряную, глубоко инстинктивную привязанность крестьянина к земле. Как раз такое, бессознательное рабство и делает его прозрение собственной неволи особенно катастрофическим. В новых условиях, требующих индивидуальной независимости, особенно острым становится переживание приговоренности поступать так, как требует того власть земли и общины. Наступает медленное, но неизбежное осознание бессмысленности такого существования на фоне открывшейся свободы в области личного, частного предпринимательства. Вот Гаврила получает письмо от сына, в котором тот сообщает, что живет в городе, «в трактире для чистки посуды», получает рубль жалованья, в надежде занять место полового и теперь для него земля «не предоставляет никакого интереса». Конечно, крестьянина задевает то, что сын порывает с деревенским житьем, задевает прежде всего самоволие сына, не известная до сих пор свобода детей от «власти земли», от власти традиций, а значит, и от родительской власти. Кроме того, отказ сына вернуться домой разрушил самые «лучезарные» мечтания Гаврилы. Ведь сын был послан в город на заработки, чтобы на добытые им средства приобрести еще один клочок земли и все так же продолжать бесконечно ее пахать. Отказ сына нанес удар по самому фундаменту бессознательных представлений Гаврилы, по корневой связи его с землей, обесмыслив все старания крестьянина и поставив его перед необходимостью принимать нетрадиционные решения. Причем вызов этот был брошен Гавриле как бы от самого его нутра, от его крови.

Драматизм ситуации, в которой оказывается, с точки зрения отечественной словесности, русский крестьянин, состоит в том, что прозрение относительно природы его зависимости от земли и общины приходит к нему слишком поздно, исторически поздно. Слишком поздно он осознает свою действительную отделенность от общинного тела, от природы и земли, наконец, от власти «сильных мира сего». Только к концу XIX века в русской прозе у крестьянина возникает стойкое стремление сделать решительный шаг

за границы деревенской жизни, что, конечно, продиктовано соответствующими социально-историческими нуждами. Но ведь и сами эти нужды слишком робко осваивались в социально-экономической жизни страны, принимая болезненно искаженные формы. Литературный крестьянин покидает деревню, когда уже предельно «подопрет» и станет неспособен, а сама жизнь в ней приобретет катастрофически уродливое выражение. И когда писатель начинает с наивной добросовестностью изображать такую жизнь, его, оказывается, очень легко обвинить в ползучем натурализме. Вспомним хотя бы описание убогой жизни подлиповцев в известном романе Ф.Решетникова. Подобные же картины, в смысле удручающей натуралистичности, возникают и в прозе С. Каронина, и в произведениях Г. Успенского. Так что складывается ощущение неизбежности, может быть, даже вынужденности такого писательского видения, когда речь идет о жизни деревни конца XIX столетия.

Затянувшийся процесс пробуждения личностного миропонимания крестьянина, его неготовность воспринять и осознать то, что с ним происходит в данный исторический момент, резонируют дикими абсурдными взрывами в поведении, поступках отщепившегося от своей почвы крестьянина, неадекватностью его оценки мира и самооценки. В прозе того же Каронина все чаще встречаются диалоги, поражающие своей внешней алогичностью, за которой скрываются какие-то внутренние метания персонажей. Поэтому крестьянин, охваченный этой «хворью», так невнятен окружению, которое и само балансирует на краю пропасти. Его «тоска», «скука» делают Гаврилу или Ивана Ермолаевича на какое-то время чужаком в знакомом ему мире, и тем абсурднее кажется его общение с когда-то понятными и доступными ему людьми.

Мы слышали беседу Гаврилы со священником, по определению призванном понимать душевные нужды своего прихожанина. Но рефлексии Гаврилы странны для уха священника, поскольку непривычны да и нелепы в устах крестьянина. Будучи «низовым» героем отечественной словесности, Гаврила здесь «не по чину берет», поднимается на несколько уровней выше в

сравнении с привычной литературной иерархией, то есть на уровень рефлектирующих интеллигентов русской классики, так любимых ею. Не случайно Плеханов видит близость размышлений крестьянина толстовским поискам истины в знаменитой «Исповеди» писателя. На самом деле, вопросы, возникающие в мятущемся сознании Гаврилы, даже тривиальны по мере своей распространенности в слоях «мыслящей» интеллигенции во все времена. Эти вопросы так или иначе задает себе едва ли не каждый человек с более или менее развитым самосознанием в определенный период своей жизни. Но в сознании уже вполне зрелого по годам крестьянина они исторически возникают едва ли не впервые – и возникают катастрофически вдруг, совершенно неожиданно для самого человека.

Вот еще один диалог – уже из рассказа «Ученый» (цикл рассказов о парашкинцах). Герой этого произведения, подобно шукшинскому Моне Квасову, очертя голову бросается в «науку». Как замечает повествователь, «сумасшедшая голова дяди Ивана была полна невозможностей». Между им и писарем Семенычем, вполне образованным, по мнению дяди Ивана, человеком, происходит беседа, которую Иван затевает, чтобы прояснить для себя очередной «проклятый» вопрос.

« – Думал я, Семеныч, наведаться у тебя... Ты, Семеныч, не сердись...

- Ну-ка?

- Например, мужик...

Дядя Иван остановился и сосредоточенно смотрел на Семеныча.

- Мужик у нас счету нет, - возразил последний.

- погоди, Семеныч... ты, Семеныч, не сердись... Ну, например, я мужик, темнота, одно слово – невежество... А почему?

В глазах дяди Ивана появилось мечтательное выражение.

У Семеныча и косушка вылетела из головы; он даже плюнул.

- Ну, мужик – мужик и есть! Ах ты, дурья голова!

- То-то я и думаю: почему?

- Потому – мужик, необразованность... Тьфу! дурья голова! – с удивлением плюнул Семеныч, начиная хохотать.

Иван опять лег навзничь. По его лицу прошла тень; видно было, что какая-то мысль мучительно билась в его голове, а он не мог ни понять ее, ни выразить

- Стало быть, в других царствах тоже мужик? – рассеянно спросил он.

- В других царствах-то?

- Ну?

Семеныч насмешливо поглядел на лежащего.

- Там мужика не дозволяется... Там этой нечистоты нет! Там его духу не положено! Там, брат, чистота, наука.

- Стало быть, мужика...

- Ни-ни!

- Наука?

- Там-то? Да там, надо прямо говорить, ежели, например, ты сунешься с образиной своей, там на тебя собак напустят! Потому ты зверь зверем!

- Тсс! – ответил Иван и изумленно посмотрел на Семеныча...»<sup>50</sup>

Вопрос Ивана не так глуп, как это представляется его приятелю Семенычу. В нем видна попытка социального самоопределения как признак личностного роста, с одной стороны, а с другой, - противостояние той унификации крестьянства, которая свойственна государственной на него точке зрения и которая в превращенной балагурством форме звучит в репликах Семеныча. В словах последнего есть также и определение места, отводимого мужику в социальной иерархии нации. Есть в этом скоморошьем диалоге и отзвук того, что отмечает Плеханов, вспоминая как в семидесятых годах он

---

<sup>50</sup> Там же, с. 40.

встретился в Берлине с артелью русских крестьян Нижегородской губернии, работавших на одной из сукновальных фабрик прусской столицы. «Мы помним, - пишет философ, - какое впечатление произвело на них знакомство с заграничными порядками и с материальным положением рабочих. «Нет страны хуже России!» – восклицали они с каким-то грустным ожесточением и охотно соглашались с нами, когда мы говорили, что пора бы русскому крестьянству подняться на своих угнетателей»<sup>51</sup>

Плеханов видит в Иване из рассказа Каронина потенции такого радикального протеста, который гаснет, как полагает философ-марксист, из-за того, что Ивана позвали в волость и там розгами «напомнили ему о его гражданских обязанностях». Мы бы хотели избежать такой революционной прямолинейности в толковании того, что происходит с героями Каронина, хотя нельзя отрицать, что метания этих персонажей могут разрешиться и неуправляемым бунтом. Но этот бунт ни в коем случае не имеет под собой никакой «революционной сознательности». Он откровенно стихийен и есть выражение все той же тоски от неопределенности, от некой подвешенности персонажа в социальном воздухе эпохи. Отсюда и развитой смеховой элемент в метаниях и дяди Ивана, и Гаврилы. Они очень естественно входят в карнавальную среду русского балагурства, присутствующего и на страницах прозы Каронина, а тем более этой свойственно далеким потомкам каронинских героев – в прозе уже не раз упомянутого В.М. Шукшина. Так в прозе Каронина рождается трагикомизм, который теперь всегда будет сопровождать в литературе героя такого типа.

С. Каронин так разворачивает сюжет цикла о парашкинцах, что распад, исчезновение деревни становится все более неизбежными, а потому рассказы наполняются чувством безысходной печали. Один из заключающих цикл рассказов носит название «Последний приход Демы». Дема Лукьянов почти нарицательный тип крестьянина, «съехавшего с корней» окончательно и

---

<sup>51</sup> Плеханов Г. В., т.5, с. 132.

бесповоротно. На деревне он считает себя «лишним, даже невозможным». Более всего в его странствиях Дему привлекает свобода, но не как «осознанная необходимость», а как свобода от принятия на себя каких бы то ни было обязательств и решений. Существенно и то, что «вне деревни его не оскорбляли, деревня же предлагала ему ряд самых унижительных оскорблений»<sup>52</sup>. Заметим, что для каждого из каронинских крестьян-отщепенцев принципиальным в их стремлении покинуть деревню является то, что вне деревни его человеческое достоинство не страдает. Теперь в герое такого происхождения созревает чувство собственного достоинства – это становится открытием для крестьянина в прозе Каронина.

Наиболее выразительно такое открытие переживает главный герой цикла «Снизу вверх» Михайло Лунин. Этот персонаж становится завершением сюжетной линии становления крестьянского мирознания в прозе Каронина. Как отмечает Плеханов, Михайло Лунин становится сознательным пролетарием, что понимается как вершина саморазвития крестьянского сознания. Сравнивая Лунина с Иваном Ермолаевичем из очерков Г. Успенского, Плеханову приговаривает последнего к прошлому. «Он живет или хотел бы жить так, как жили его «прародители», за исключением, конечно, крепостного права. Михайло Лунин с содроганием и ужасом слушает рассказы о жизни «прародителей» и старается создать себе возможность иной, *новой* жизни, обеспечить себе иное, лучшее *будущее*. Словом, один представляет собою старую, крестьянскую, допетровскую Русь, другой – новую, нарождающуюся, рабочую Россию, ту Россию, в которой реформа Петра получает, наконец, свое крайнее логическое выражение»<sup>53</sup>.

Г.В. Плеханова радует «процесс разложения старых деревенских порядков», который, судя по тому, как он отразился в российской словесности, к концу XIX - началу XX в. достиг кульминации. Классик русского марксизма соответствующим образом пытается сориентировать «демократическую

---

<sup>52</sup> Каронин С., т.1, с. 121.

<sup>53</sup> Плеханов Г. В., т.5, с. 133

интеллигенцию», которая, по его мнению, все еще «продолжает искать опоры в старых народных «идеалах»»<sup>54</sup>. Философ справедливо полагает, что каронинский «ученый» дядя Иван далеко уже ушел от Ивана Ермолаевича. Ведь его, как мы видели, осаждают «проклятые» вопросы, о существовании которых герой «Власти земли» и не подозревает. «Раз начали появляться такие вопросы в крестьянской голове, можно с полной уверенностью сказать, что старому, сплошному крестьянскому быту пришел конец»<sup>55</sup>. А то, что и у Ивана, и у Егора Панкрата опускаются руки, и все, в конце концов, завершается кабаком, так это обстоятельство только «показывает лишний раз, что современная деревня представляет собой среду, крайне неблагоприятную для развития крестьянской мысли»<sup>56</sup>. Вот Михайло Лунин рано покинул деревню и поэтому, как полагает Плеханов, уцелел. И если бы дядя Иван попал на место Лунина, он, по всей вероятности, тоже бы стал «сознательным пролетарием». «Дядя Иван относится к Михайле как человек, поставивший себе известную цель, относится к человеку, достигшему этой цели... Дядя Иван является антиподом Ивана Ермолаевича *в стремлении*, Михайло Лунин – антиподом его *в действительности*. Нам заметят, вероятно, что немного рабочих попадают в такие благоприятные для умственного развития условия, в какие попал Лунин. Это верно. Но не в этом дело. Важно то, что современная русская жизнь, благодаря распадению сплошного быта, создает и чем далее, тем в большем числе будет создавать таких личностей, как Егор Панкратов, дядя Иван и Михайло Лунин. Важно то, что как ни плохо положение русского рабочего, но все-таки городская жизнь гораздо более деревенской благоприятна для дальнейшего умственного и нравственного развития подобных личностей»<sup>57</sup>.

Плеханов видит зарево грядущих пролетарских революций, сметающих угнетателей всех мастей. Каково же место деревни в этой буче,

---

<sup>54</sup> Там же, с. 137.

<sup>55</sup> Там же, с. 136.

<sup>56</sup> Там же.

<sup>57</sup> Там же.



«боевой, кипучей»? Похоже, ей не находится места в грядущем обществе. Однако важен вопрос, который уже в 60е годы XX века поставил В.М. Шукшин и который остро стоял, судя по литературе этого периода, и в конце XIX в. Мы видим откуда деревня уходит, но куда она приходит? Распад современной Плеханову и Каронину деревни есть одновременно и распад традиционного земледелия, действительно, всем своим существом связанного с «властью земли», то есть подчиняющегося естественным требованиям природы. Вглядимся в образ деревни, возникающий у Каронина в последнем рассказе цикла о парашкинцах – «Куда и как они переселились»: «Повсюду кругом веяло запустением и заброшенностью. Река тихо катила свои мутные струи, берега ее поросли мелким кустарником, а ее поверхность покрылась лопухами и кашкой, как поверхность озера. Нигде не видно тропинок, даже дорога, ведущая к мосту, заросла травой, только сам мост уцелел, хотя его никто больше не поправлял, и он, видимо, готов был запрудить собой реку. Где же дворы? Прежде деревня далеко тянулась в два порядка вдоль реки, а теперь остались от улицы одни только следы. На месте большинства изб виднеется пустое пространство, заваленное навозом, щепками и мусором и поросшее крапивой. Кое-где вместо изб просто ямы. Несколько десятков изб – вот все, что осталось от прежней деревни. Стоял, без видимой причины, еще один сорт изб, в которых не было ни дверей, ни окон, ни даже потолка, а около них не находилось никаких строений, так что издали они казались срубами, употребляющимися для ловли зверей. В нескольких местах просто торчали поверх крапивы и полыни печи с полуразрушенными трубами, как после пожара, истребившего дом и изгнавшего его обитателей. В трех-четырех местах лежали огромные кучи навозной золы, которая во время ветра поднималась вверх и вместе с остатками другого разного сора носилась в воздухе над этой пустыней»<sup>58</sup>.

Это образ уже как бы потусторонней, умершей деревни, отчетливо перекликающийся с тем образом, который оформился вполне гораздо позднее,

---

<sup>58</sup> Каронин С., т.1, с. 131-132.

в первые десятилетия XX века в прозе Андрея Платонова. Кажется, что именно в деревне, изображенной Карониным, загодя строились те гробы, которые в платоновском «Котловане» извлекаются на свет Божий, чтобы принять крестьянские тела отошедшей в небытие деревни. Каронин с публицистической прямолинейностью подтверждает наличие эсхатологических настроений в своей прозе: «От прежней деревни действительно остался один труп». А немногочисленные обитатели этой деревни превратились в равнодушные тени мертвецов, привидений. «Все это были люди, сросшиеся с землей, на которой они жили так крепко, что связали свою судьбу с ней. Если земля худала, худали и жители, сидящие на ней. В этой связи заключалось даже своего рода удобство, потому что для парашкинцев было нечувствительна собственная захудалость, когда все вокруг них носило следы истощения и бедности. Поля вокруг деревни уже не засеивались сплошь, как прежде; во многих местах желтели большие заброшенные плешины: там и сям земли покрылись вереском, кое-где вновь появились незаметные раньше болота, засеянные же поля были тощи по качеству и незначительны по количеству. А бродивший по кустарникам скот едва волочил ноги, паршивый, худой, с ребрами наружу и с обостренными спинами, на которые часто садились галки и клевали мясо. Но парашкинцы были равнодушны ко всему...»<sup>59</sup>

Вопрос, прозвучавший в названии рассказа, уже подразумевает ответ: деревня переселилась в смерть. Едва ли не платоновской речевой формулой подкрепляет этот ответ Каронин: парашкинцы «приспособлялись к смерти, сокращая свою жизнь до нуля»<sup>60</sup> Некий «солдат Ершов», как и все парашкинцы «приспособлявшийся к загробной жизни», сделал попытку вывести равнодушные тени крестьян из умирающей деревни. Но и уйти им не удалось, охраняемым «заботливостью» властей. И все же угроза парашкинцев («Нам уже все едино! Мы убедем!») не осталась без последствий: деревня

---

<sup>59</sup> Там же, с. 132.

<sup>60</sup> Там же, с. 139.

источилась. Одни бежали в город; другие ушли неизвестно куда и никем после не могли быть отысканы; третьи бродили по окрестностям, не имея ни семьи, ни определенного пристанища. «Так кончили парашкинцы, - завершает цикл писатель, - вместе с ними кончился и героический период деревни»<sup>61</sup>.

\* \* \*

Завершая анализ художественной и очерковой прозы Г. Успенского и С. Каронина нужно отметить следующее. Фиксируемое наблюдателями завершение известного этапа развития российского крестьянства в пореформенный период, его отделение от материнского тела традиционной русской деревни имело как негативное, так и в известном смысле позитивное продолжение. Первое – негативное - было связано с деградацией прежних жизненных и хозяйственных устоев, обусловленной ими психологии и сознания как отдельного крестьянина, так и «мира» в целом. Второе – позитивное – сопрягается с появлением в деревне, в том числе и прежде всего из среды самих крестьян, действительно «нового» человека, разного рода «новых людей». Конечно, это были не те созданные отечественной романистикой «новые люди», которыми была наполнена столичная жизнь, бредившая о революции благодаря деятельности философствующих кружковцев, равно как и целенаправленному творчеству Н.Г. Чернышевского. Но тем важнее для реальной жизни были эти не придуманные, а подсмотренные у реальной действительности социальные типы. Именно они все увереннее заявляли о себе и все увереннее определяли ход действительной жизни.

---

<sup>61</sup> Там же, с. 147.